

гроба, гроба! «А если что и остается от звуков лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется и общей не минет судьбы...»

— Панахиды, отпевания... Слуга покорный! Нога моя никогда не будет больше на них! Вздор хоть одно это: идиотское несоответствие человека, всю жизнь бывавшего в церкви только на похоронах, со всем тем церковным, что окружает его после смерти — целых трое суток! Несоответствие человека самого среднего, в конечном счете вполне ничтожного, с этими высочайшими словами, которые поются и говорят над ним трое суток, а затем с торжественнейшими напутствиями перед заколачиванием гроба... С напутствиями куда? Ровным счетом никуда, если не считать трехаршинной мерзкой ямы, в которой завалят его мокрой глиной в новеньком, блестящем ящике из лакированного дуба! И совершенно то же самое будет в некий день и со мной, и ведь я иногда это уже чувствую: среди всех радостей и удовольствий моей неустанно утекающей куда-то жизни уже ношу в себе сокровеннейшее «мemento мори», эту иногда сжимающую сердце тоску... и даже как будто какую-то поэзию ее, поэзию какой-то будто бы утешающей безнадежности, покорности — и укора кому-то: да, обречен, без вины виноват, но обречен и погибну — знаю, что погибну, но — покоряюсь. Что же я могу? И черт меня дернул надеть этот жеребчий наряд, в нем ужасно холодно! А на Неве и совсем замерзнешь, ровно ничего не стоит схватить и себе какую-нибудь «крупозную» гадость...

— Гони, дядя, в хвост и в гриву — полтинник на водку!

— «Смерть Ивана Ильича»... Неплохо написано, а в итоге все-таки ерунда. Ивану Ильичу ужасно было умирать, видите ли, потому, что он как-то не так прожил жизнь. Нет, Лев Николаевич, как ее ни проживи, смерть все равно. Несказанный ужас. Но как верно, что Иван Ильич долго был вполне уверен в случайности и временности своей болезни! Так же уверен был, конечно, и Карцев. Даже, небось, некоторое время испытывал большое удовольствие. День-два крепился, переносил жар и слабость на ногах, потом сдался, разделся, лег в постель и почувствовал себя так сладко, точно в теплую ванну сел. Несомненно, есть некоторое счастье болезни, особенно вначале, — это освобождение от одежды, от галстука, покой постели, покой свободы от обязанности держать свое тело в установленном при здоровье порядке, да и не только тело, а и все свое существо — держать так, как полагается по отношению к людям, ко всем своим житейским делам, по отношению вообще ко всей своей здоровой жизни. Но этого мало. В болезни есть еще повышенное чувство отделения от тела нашего главного я, нашей так называемой души. Так освобождается она, эта душа, от тела и при всяком большом несчастье. Это-то я уж отлично знаю — ведь и сам болел в жизни не раз, и страдал, и любил, и плакал, теряя любимое... Кстати: что такое, в сущности, болезнь? Попробуй-ка определить! Нечто дьявольски таинственное, неизъяснимое! А страдание душевное? А любовь, нежность, слезы? Желание пожертвовать собой ради горячо любимого существа? Узнать себя перед любимой женщиной, рабски целовать подол ее платья, ее ноги? Тут опять это освобождение, большое освобождение!

— Да, в известные годы все-таки начинаешь уже не думать, а чувствовать, что я — тоже Кай, что не только мое тело, но и мое сознание, мысль, чувства, душа, дух — все, все должно погибнуть в некий срок навеки — вы только подумайте: навеки! — и без следа, без единого следа! Кости мои могут пролежать еще тысячу лет в земле? Да на черта мне это, не говоря уже о том, что даже и кости-то эти будут совершенно не такие, что были в моем живом теле! А еще что? «Возвратится дух к Богу, создавшему его», возвратится, то есть не пропадет, да ведь я-то пропаду, я, Иван Иванович Иванов! А еще какой след? Разве это след-то, что тебя будут помнить некоторые, знавшие тебя, любившие или ненавидевшие тебя, и даже не помнить, если уж точно говорить, а только вспоминать иногда? А потом и они умрут, и дети их умрут — и конец, полный конец...

— Боже мой, что же это такое? Сколько миллиардов легло в землю хотя бы за то маленькое время, которое называется нашей историей! Сколько женских тел, из которых великое множество было еще молодо и божественно прекрасно! Сколько жалких детских трупиков! Сколько гнусных старческих! И вот и я буду в числе их через какие-нибудь двадцать, тридцать лет (и это в лучшем случае)! А меж тем

все это с меня сейчас, то есть пока, до поры до времени, как с гуся вода! Ничего этого я, в конце концов, не боюсь, ничему этому до конца не верю, еду вот к любовнице, буду с ней есть груши и пить ликер и кофе, потом иметь ее... И наряду с этим «Ах, я так люблю тебя, что хотела бы умереть в твоих объятиях!» Почему, зачем, откуда эта вечная жажда смерти, гибели в минуты сильной любви, страсти? А вдруг она и в самом деле от чего-нибудь умрет? Это тебе уже не Карцев! И вообще — как это люди могут переживать смерти любимых, близких, возлюбленных, жен, с которыми прожито полжизни, девушек-дочерей, — все то, от чего Бог меня пока избавляет! Ужас, дикий ужас!

МОСКВА

У Лубянской стены, где букинисты, их лавки и ларьки. Толстомордый малый, торгующий «с рук» бульварными и прочими потрепанными книгами, покупает у серьезного старика-букиниста сочинения Чехова. Букинист назначил двенадцать копеек за том, малый дает восемь. Букинист молчит, малый настаивает. Он лезет, пристаёт — букинист делает вид, что не слушает, нервно поправляет на ларьке книги. И вдруг, с неожиданной и необыкновенной энергией:

— Вот встал бы Чехов из гроба, обложил бы он тебя по матери! Писал, писал человек, двадцать три тома написал, а ты, мордастый..., за тринку хочешь взять!

16.X.30, Грасс

* * *

Знакомый старик идет навстречу в совершенно необычном виде: в очках и с красными, полными слез глазами.

— Макар, что это с тобою?

— Да вот очки купил сейчас, а то просто беда, совсем слепой стал.

— Да ты с ума сошел, ты еще хуже ослепнешь, ведь они тебе совсем не по глазам.

— Кто, барин? Очки-то? Ничего, они оглядятся.

* * *

Гуськом, держась друг за друга, подняв незрячие лица идут мимо слепцы, мрачно дерут на разные лады:

*А мы видели,
Диву дивную,
Диву дивную,
Телу мертвую...*

1930

* * *

Спят в одной комнате брат и сестра, подростки. За окном лунная ночь. Проснулся, перевертываясь, — она плачет. «Что ты?» — молчит, подавленно рыдает. Подошел, сел к ней на постель; стала рассказывать свое великое горе — несчастно влюблена — в мальчишку, помощника машиниста. Стала утешать, целовать в мокрую горячую щеку, потом в такие же губы... «Ляг, ляг со мною, обними меня покрепче, а то умру...» Лег — и все произошло само собой, с горячей, порывистой нежностью, счастьем и жалостью, горем.

Самая прекрасная за всю жизнь любовь.

ПИСЬМА

Бросила, он сходит с ума, каждый день пишет ей письма, полные и угроз, и оскорблений, и унижительных нежностей, просьб вернуться, вспомнить «незабвенное прошлое»... Она дает эти письма своему новому любовнику — он после развратной ночи с ней пьет кофе, жрет круассаны с маслом и, потешаясь, вслух читает. Молод, но по утрам — припухшее лицо, нездоровый блеск глаз; размыт в ванне, черно блестят мокрые, стянутые сеткой волосы, не в меру цветистая пижама, голые ноги, их противное тело в лакированных туфлях без задка. У нее рукава матиза так широки, что когда она наливает